В. Д. НАДТОЧИЙ

Государевы люди

СОРОК ТРЕТИЙ



КОГДА ВРАГ СРЕДИ СВОИХ, ДОВЕРИЕ МОЖЕТ СТОИТЬ ЖИЗНИ...

Владислав Надточий

Государевы люди. Сорок третий

«Автор»
2026

Надточий В. Д.

Государевы люди. Сорок третий / В. Д. Надточий — «Автор», 2026

Что, если секретные документы похитили именно для того, чтобы они попали к врагу? А убийцы с самого начала знали, что крадут не тот пакет?Ноябрь 1941 года. Немцы рвутся к Москве. На глухом железнодорожном разъезде люди в советской форме расстреливают охрану секретного груза. Перед смертью фельдъегерь успевает прошептать: «Пакет не тот»Расследование поручают майору НКВД Сыромятникову. Но первые же улики приводят его к преступлению тридцатилетней давности. Кто-то знает тайны его прошлого, предугадывает каждый шаг и словно намеренно ведёт по следу.Кто предатель? Что на самом деле похитили убийцы? Почему операция, способная изменить ход войны, связана с давно забытым преступлением?Чем ближе разгадка, тем страшнее подозрение: всё происходящее подчинено чужому замыслу.И если похищенный пакет — лишь приманка, то кто настоящая цель?Самое опасное в этой игре — узнать ответ. Ведь после этого свидетелей может не остаться.

© Надточий В. Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 6
Часть первая. Чужие скрепки 8
Глава 1. Почтовый вагон 8
Глава 2. Майор 14
Глава 3. Капитан Тарханов 19
Глава 4. Следователь 24
Глава 5. Что было в пакете 28
Глава 6. Флидер 33
Конец ознакомительного фрагмента. 36

Владислав Надточий
Государевы люди. Сорок третий

Надточий В.Д.
ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ
СОРОК ТРЕТИЙ

Пролог

Капитан Пахомов знал две вещи: до Ельца он не доедет и человек, который его убьёт, носит советскую форму.

Он понял это в Касторной, на краю тёмной платформы. В окне комендантского барака дважды вспыхнул огонёк папиросы. Первый раз — когда Пахомов вышел из машины. Второй — когда поднял руку с пристёгнутым к запястью портфелем.

Куривший прятался в неосвещённой комнате. Он ждал именно портфель.

Пахомов не повернул головы. До комендатуры было двадцать шагов. В эшелоне ехал стрелковый полк — четыреста вооружённых людей. Один крик, и станцию оцепят. Проверят барак, посадку, дома у путей. Того, кто следил за ним, возможно, возьмут.

А возможно, спугнут. И тогда он исчезнет вместе с тем, кто сообщил ему номер эшелона, маршрут и фамилию фельдъегеря.

Пахомов прошёл мимо комендатуры.

В портфеле лежали пять листов машинописи, две карты и таблица перевозок. Если верить пакету, Ставка перебрасывала последние резервы к Кашире и Туле. Если немцы получат бумаги и поверят им, они будут ждать советского удара севернее, у Москвы, — и не заметят кулак, который собирается на их южном фланге.

Ни одного настоящего слова в пакете не было.

Об этом знали четверо. Генерал в Москве. Полковник, передавший портфель. Сам Пахомов. И человек, чьего имени капитан не слышал. Полковник назвал его просто: тот, кто проверит.

— Пакет попытаются взять, — сказал полковник. — На дороге или уже в штабе. Ваша задача — довезти.

— А если не довезу?

Полковник посмотрел на него поверх очков.

— Тогда запомните, кто пришёл за пакетом. Если останется время.

Теперь Пахомов видел красную точку в окне и понимал: времени ему не оставят.

У почтового вагона ждал старик с бородкой, в очках на кончике носа. Рядом стояла девушка-ефрейтор, совсем молоденькая. На гимнастёрке — чернильное пятно, на пальцах — следы штемпельной краски. Она посмотрела на цепочку, на портфель, на лицо капитана. Не из любопытства. По привычке. Почтовый человек замечает то, что везут.

Пахомов остановился у подножки.

Если те, из барака, пойдут за ним, старик и девушка окажутся между убийцами и пакетом. Можно потребовать отдельный вагон. Пересесть к офицерам. Оставить портфель у коменданта и поднять тревогу.

Но тогда неизвестный не покажет, кто откроет ему путь к эшелону.

Капитан поднялся в вагон.

— Фельдъегерь Пахомов. Еду с вами до Ельца. Мои двое со мной. Предписание.

Старик прочитал бумагу и сказал, что будет тесно. Девушка подвинула мешки. Двое автоматчиков сели у двери. В вагоне уже находились двое конвойных. Эшелон дёрнулся, колёса медленно застучали на стыках.

Пахомов положил портфель на колени. Цепочка была холодной.

Кто-то уже знал номер эшелона. Кто-то знал маршрут. Кто-то знал, в каком вагоне поедет фельдъегерь. Этот человек находился не по ту сторону фронта. Он был рядом: на станции, на дороге, в штабе — среди тех, чьи документы не проверяют дважды.

Пахомов посмотрел на девушку.

— Как вас зовут, товарищ ефрейтор?

— Анна.

— Если поезд остановится между станциями, к двери не подходите.

Она нахмурилась.

— Почему?

Правдивый ответ напугает её. Ложь она запомнит. Пахомов выбрал третье.

— Приказ такой.

За окном погасли последние огни Касторной. В стекле отражались семь человек: фельдъегерь, два автоматчика, два конвойных, старик и девушка.

До разъезда Сухой Лог оставалось меньше трёх часов.

К рассвету говорить сможет только девушка. И именно её показания понадобятся убийцам.

Часть первая. Чужие скрепки

Глава 1. Почтовый вагон

В ночь на двадцатое ноября 1941 года ефрейтор Анна Беляева, девятнадцати лет от роду, впервые увидела, как человек убивает человека, глядя ему в лицо.

До этого смерть у неё была другая. Смерть приходила треугольниками.

Нюра служила сортировщицей на военно-почтовой станции с первых недель войны и уже перебрала руками столько писем, что перестала считать. Толстые, исписанные до краёв, шли из дома. Тонкие — с передовой. Казённые извещения в конвертах она брала как горячее. В октябре перестал отвечать номер полевой почты её брата Шурки. Никакого извещения не было, но Нюра каждый день искала знакомые цифры и каждый день не находила. Однажды она вышла за вагон, села на шпалы и выла так, что прибежал начальник станции, решив, будто её зацепило буфером.

Больше она не выла. Сказала себе, что хватит, и не выла.

Почтовый вагон был старый, ещё царский, с выцветшими буквами «Почта» на зелёном боку, под которыми кто-то нарисовал мелом звезду. Внутри стояли полки, стол, железная печка и окованный ящик, привинченный к полу. Печку топили без передышки, но от двери всё равно тянуло ледяным воздухом. Вагон цепляли к хвосту воинских эшелонов, и он мотался от Воронежа до Ельца и обратно, через Касторную, по дороге, которая с каждым днём становилась всё ближе к фронту. Вдоль путей лежали обгорелые вагоны, перевёрнутые колёсами вверх, как дохлые жуки, а на разъездах вместо станционных домиков торчали печные трубы.

Старшим по вагону был старшина Иван Гаврилович Лунин, которого все звали Гаврилычем. Ему было за шестьдесят. Он служил на почте ещё при царе, потом при всех властях, какие случились, и говорил, что почта одна, а власти бывают разные. Носил он очки на самом кончике носа, бородку клинышком и медаль «За боевые заслуги», которую получил за то, что летом сорок первого вывез из-под бомбёжки восемь мешков писем, а свой вещмешок забыл.

— Письма чужие, а мешок свой, — объяснил он тогда. — Свой не жалко.

Нюра его любила, хотя и побаивалась. Гаврилыч учил её всему. Как принимать мешки по ведомости и как пломбировать. Как отличить письмо из госпиталя от письма из окопа по запаху: из госпиталя пахнет карболкой, из окопа землёй и махоркой. Как спать сидя, чтобы просыпаться на каждой станции. И как разговаривать с начальством, чтобы оно не задерживалось.

— Ты, Анна, вперёд не лезь, — говорил он. — Почтовому человеку не надо, чтобы его замечали. Почтовому человеку надо, чтобы замечали письма.

Ещё у них в вагоне жили двое конвойных: сержант Кравчук, рыжий, весёлый, с медалью «За отвагу» за бои на старой границе, и рядовой Тетерин, которого все звали Тетерей, потому что он засыпал в любом положении и в любую минуту, а проснувшись, всякий раз удивлялся, где он.

А в ту ночь был ещё капитан.

Капитан пришёл в Касторной, за десять минут до отправления. Нюра потом много раз пересказывала эту минуту, и каждый раз видела её одинаково. Был только утоптанный шлак, первый снег и дощатый барак военного коменданта с керосиновой лампой в окне. Эшелон стоял тёмный, длинный, с платформами под брезентом. Пахло паровозной гарью, мокрой шерстью и морозом. Где-то в теплушках играла гармошка, и кто-то пел «Синий платочек», фальшиво и жалобно.

Капитан шёл вдоль состава быстро, почти бегом, а за ним шли двое автоматчиков в фуражках с синим верхом. Сам капитан был в шинели с петлицами, с портфелем, и портфель был пристёгнут к его запястью цепочкой. Нюра таких видела дважды. Фельдъегерская связь. Возит то, что не доверяют ни почте, ни телеграфу.

— Старший по вагону?

Гаврилыч вышел из глубины вагона и посмотрел на капитана поверх очков.

— Я.

— Фельдъегерь Пахомов. Еду с вами до Ельца. Мои двое со мной. Предписание.

Гаврилыч взял бумагу, прочитал, повернул к лампе, прочитал ещё раз. Потом вернул.

— Тесновато будет, товарищ капитан. Вагон почтовый.

— Знаю, — сказал капитан. — Мне в нём и надо. В воинском эшелоне на меня каждый ротный смотрит, что я тут потерял. А на почту никто не смотрит.

Гаврилыч хмыкнул и отступил, пропуская. Капитан влез, огляделся, сел на ящик у стены и поставил портфель на колени. Автоматчики сели по бокам от двери. Один из них сразу закурил, второй уставился на Нюру и смотрел, пока Гаврилыч не сказал ему, что у них в вагоне не курят, потому что бумага, а смотреть можно, но недолго, потому что работа.

Капитану было лет тридцать пять. Лицо у него было серое, небритое, а глаза красные, как у человека, который не спал дня три. Он сидел, держал портфель обеими руками и молчал. Когда эшелон дёрнулся и пошёл, он закрыл глаза, но не уснул, а только перестал смотреть.

— Мороз к ночи крепчает, — сказал вдруг Гаврилыч в пространство, ни к кому не обращаясь. Он сидел за столом и писал в ведомость, и перо у него скрипело в такт колёсам. — Река встанет. Я по костям чувствую.

— Тю, — сказал сержант Кравчук. — Ты, дед, церковный, что ли?

— Я почтовый, — ответил Гаврилыч. — А почтовый человек погоду знать должен. Не для разговоров. Для дороги.

Капитан открыл глаза, посмотрел на старика и снова закрыл. Нюра подумала, что мать в Калинине, наверное, тоже слушает ветер и думает, хватит ли дров. От Шурки писем не было с октября. Последнее пришло из-под Вязьмы, и с тех пор почтовый номер молчал.

Она подвинулась поближе к лампе и стала разбирать мешок с треугольниками из госпиталя. Работы не было, разбирать можно было и утром, но ей не хотелось думать.

* * *

После Касторной дорога шла через поля, потом через перелески, потом снова через поля, и ночь была светлая, ноябрьская, с низкой половинкой луны. Эшелон шёл без огней. На шпалах белел первый снег. Паровоз шумел далеко впереди, за сорока вагонами, и шум его доносился только на поворотах. Тетеря спал, привалившись к мешкам. Кравчук играл с одним из автоматчиков в дурака. Второй автоматчик курил в приоткрытую дверь, хотя Гаврилыч не велел.

— Гаврилыч, — сказала Нюра. — А вас грабили когда-нибудь?

Старик поднял голову от ведомости.

— Это ещё с чего?

— Так. Капитан вот едет.

— Капитан едет, и пускай едет, — сказал Гаврилыч и посмотрел на капитана. Тот сидел с закрытыми глазами, но Нюра видела, что он слушает. — Грабили. При царе однажды пытались. В девятнадцатом году казаки Мамонтова под Козловом, это уже при наших. Те не грабили, а просто жгли. А при царе, в девятом году, я служил в Москве, на Мясницкой, в почтамте, не в вагоне, а за столом. И был у нас такой случай. Взяли почтовый вагон под Тверью. Конвой убили, старшего почтальона убили. Лукин была его фамилия, Фёдор Игнатьевич. Хороший был старик. А молоденький почтальон остался жив. Мальчишка, вот как ты.

— А что взяли?

— Деньги. И ещё что-то, говорили, секретное. Бумагу какую-то. — Гаврилыч снял очки и протёр их пальцами. — Целый год потом в почтамте только про то и говорили. Жандармы ездили, следователи. Потом поймали. Говорили, актёр был. Переодевался.

— А мальчишка?

— А мальчишка, — сказал Гаврилыч, — ушёл с почты. Его следователь к себе взял, писарем. Как его… Сыромятников. Сапожника сын. Я его отца знал, он мне сапоги шил.

Капитан открыл глаза.

— К чему это вы, старшина?

— Ни к чему, товарищ капитан. Девушка спросила, я ответил.

— Не надо, — сказал капитан. — Не к ночи.

Гаврилыч надел очки и снова взялся за перо. Перо скрипнуло и замолчало.

— Раз уж спросила, — сказал он, не поднимая головы, — слушай правила. Первое. Дверь в пути не открывать никому. Хоть сам товарищ Калинин постучит. Второе. Если влезли, не геройствуй. Ты почтовый человек, а не боевой. Третье…

Третьего он сказать не успел. Эшелон стал тормозить.

Нюра почувствовала это спиной. Карты посыпались с ящика. Кравчук выругался. Тетеря проснулся и спросил, где он. Гаврилыч достал из кармана часы, большие, на цепочке, и щёлкнул крышкой.

— Рано, — сказал он. — До Ельца ещё сорок вёрст. Разъезд Сухой Лог. Там не стоим.

Эшелон дёрнулся и встал. Где-то впереди шипел паровоз, длинно и сердито. В траве у насыпи кричал коростель, сухо и настырно, словно кто-то вёл пальцем по гребёнке.

Капитан встал. Портфель он держал перед собой, как щит.

— Двери, — сказал он автоматчикам. — Никого.

Минута. Другая. По гравию вдоль состава захрустели шаги, неторопливые, уверенные. Голоса. Кто-то кричал впереди: «Документы! Документы приготовить!» Кто-то смеялся.

Потом постучали в дверь.

— Почтовый! — крикнули снаружи. — Комендантский патруль! Проверка документов. Откройте.

Кравчук посмотрел на капитана. Капитан покачал головой.

— Почтовый! — крикнули снова, уже раздражённо. — Вы там спите? Майор Глушков, комендатура Ельца. У нас в эшелоне дезертиры, двое. Ищем по всему составу. Открывайте, или я прикажу ломать.

— Не открывать, — тихо сказал капитан.

— Товарищ капитан, — так же тихо сказал Кравчук, — это ж наши. Они ж весь эшелон смотрят, вон, слышите.

Нюра слышала. Вдоль состава стучали в двери теплушек, сыпались голоса, кто-то ругался, что спать не дают, и кто-то отвечал ему, что на том свете отоспишься. Всё было так, как бывает при проверке. Она видела такие проверки десятки раз. Комендатуры ловили дезертиров на каждой узловой.

— Открой на ладонь, — сказал капитан. — Посмотрим, какой он майор.

Кравчук отодвинул засов и приоткрыл дверь. В щель сразу сунулся свет фонарика, а за ним лицо. Лицо было в фуражке с красным околышем, гладко выбритое, с аккуратными усиками. Майор как майор. На шинели петлицы с двумя просветами и одной звёздочкой. На груди, под распахнутой шинелью, орден Красной Звезды. Он посветил Кравчуку в лицо, потом в вагон, на мешки, на Гаврилыча, на Нюру.

— Ну наконец-то, — сказал он. — Барышня, вы бы не боялись. Мы не кусаемся.

Это слово Нюра потом повторяла много раз: следователю, майору с усталыми глазами, самой себе по ночам. «Барышня». Так никто не говорил. Так говорили в кино про старое время и бабушки в Калинине. Комендантский майор сказал бы «девушка», или «товарищ ефрейтор»,

или «красавица», если весёлый. А этот сказал «барышня», легко, с улыбкой, как будто иначе и не бывает.

Капитан тоже что-то почуял. Он шагнул к двери, и рука его пошла к кобуре.

— Покажите ваши документы, майор, — сказал он.

— Пожалуйста, — сказал майор, и сунул руку за отворот шинели.

Он вынул не документы. Выстрел в тесном вагоне ударил Нюру по ушам, как доской. Кравчук сел на пол и привалился плечом к ящику. На лице у него было удивление, больше ничего. Дверь отъехала настежь. В вагон полезли сразу трое, в плащ-палатках, с автоматами, и автоматчики капитана вскинули оружие, и Нюра успела подумать: вот, сейчас они их… Очереди слились в одну. Рябой автоматчик упал навзничь, на рассыпанные карты. Второй успел выстрелить, один раз, в потолок. Тетеря так и не проснулся до конца. Он поднялся, сказал «а?» и упал обратно на мешки, и больше уже не спрашивал, где он.

Капитан выстрелил дважды. Один из людей в плащ-палатках охнул и сел у двери. Потом капитана ударило в грудь, он отлетел к стене и сполз по ней, и портфель потянул его руку вниз, на пол, цепочкой.

Гаврилыч рванулся. Не к двери, не к капитану, а к Нюре. Он закрыл её собой, просто встал перед ней, в очках, в своей медали, и выставил вперёд руки, как будто хотел отодвинуть то, что летит. Его ударили прикладом в висок. Старик упал на стол и опрокинул чернильницу. Чернила поползли по ведомости, по сорока двум мешкам.

Нюра не сделала ничего. Потом на допросах она всякий раз ждала, что её назовут трусихой. Никто не назвал. Она сидела на мешках с письмами из госпиталя, и в руках у неё был фонарь, и фонарь ходил ходуном, и тени плясали по стенам. А в голове вертелось только недосказанное стариком: «Третье…»

Майор вошёл последним. Он поднялся в вагон легко, отряхнул колено, огляделся, как в чужой квартире. Перешагнул через Кравчука. Присел над капитаном. Капитан был ещё жив. Он смотрел на майора и что-то говорил, без звука, одними губами, и держал портфель. Майор взял его руку за запястье, как врач, подержал и отпустил.

— Ключ, — сказал он через плечо.

Один из людей в плащ-палатках подал ему что-то маленькое, блестящее. Нюра не поняла сначала, что это. Потом поняла: щипцы. Майор перекусил цепочку. Звук был тихий и обыденный, как будто колют сахар.

— Свети, — сказал он Нюре, не оборачиваясь. — Сюда, на замок. Не трясись, барышня. Мешаешь.

Нюра посветила.

Руки у майора были белые, с длинными пальцами. Не рабочие руки. На безымянном пальце левой руки была светлая полоска, след от кольца, которое он снял, а загар остался. Ногти чистые, ровно подстриженные. Он открыл портфель и вынул пакет, плотный, серый, в сургучных печатях. Повертел под фонарём, пересчитал печати. Провёл ногтем по краю. И улыбнулся, вежливо и довольно, как улыбаются люди, получившие наконец письмо, которого долго ждали.

— Толстый, — сказал он. — Это хорошо. Значит, подробно.

— Товарищ майор! — крикнули снаружи. Голос был молодой, сиплый, и в нём слышалась паника. — Паровозная бригада к лесу побежала. Двое. Кончать?

— Кончать, — сказал майор, не поворачиваясь. — Ни одного. Хорь где?

— Хорь у будки, со стрелочником.

— Пусть заканчивает. Три минуты.

Человек, которого ранил капитан, всё сидел у двери и держался за живот. Майор посмотрел на него сверху, недолго, без выражения. Потом посмотрел на Нюру.

— Девку тоже? — спросил тот, у двери, сквозь зубы.

Нюра перестала дышать.

Майор не ответил ему. Он присел перед Нюрой на корточки, так что лицо его оказалось вровень с её лицом. Пахло от него не так, как пахнут военные. Не махоркой и не потом, а хорошим табаком и одеколоном. Глаза у него были светлые, весёлые и совершенно пустые.

— Как зовут?

— Анна, — сказала Нюра. Голос был чужой.

— Анна. — Он кивнул, словно это его устроило. — А по батюшке?

— Ивановна.

— Первый снег сегодня, Анна Ивановна, — сказал майор. — Следы хорошо остаются.

Нюра молчала. Мать учила её отвечать, но она не смогла бы сейчас выговорить ни одного слова, даже если бы от этого зависела жизнь. А может, и зависела.

Майор подождал, усмехнулся, встал. Сунул пакет за пазуху, под гимнастёрку, и застегнул шинель на все пуговицы.

— Помогите Седому, — сказал он людям в плащ-палатках, кивнув на раненого. — Донесёте до машины. Не донесёте, оставите. Девку не трогать.

— Так ведь видела.

— Видела, — согласился майор. — И что она видела? Майора комендатуры. Таких майоров в этом тылу двести штук. — Он поглядел на Нюру ещё раз, уже от двери, сверху вниз. — А потом, она нам ещё пригодится. Ей ведь поверят. А нам того и надо, чтобы поверили.

И ушёл. Нюра слышала, как хрустит гравий под его сапогами, и как кто-то бежит, и как далеко у паровоза хлопнули два выстрела, потом третий. Потом заурчал мотор. Не рядом, далеко, за посадкой, со стороны просёлка. Урчание прошло вдоль полотна и стихло.

Стало тихо. Только коростель всё скрипел в траве, как ни в чём не бывало.

* * *

Она не знала, сколько просидела так, с фонарём в руках. Потом фонарь стал жечь пальцы, и она поставила его на пол. Потом подползла к Гаврилычу.

Старик лежал на столе лицом вниз, в чернилах. Очки слетели. Нюра перевернула его, и он застонал.

— Гаврилыч. Иван Гаврилыч. Миленький.

Он открыл глаза и посмотрел на неё, не узнавая. Потом узнал.

— Анна, — сказал он. — Мешки.

— Целы мешки. Все целы. Гаврилыч, они капитана…

— Пакет?

— Взяли.

Старик закрыл глаза. Из виска у него текло, медленно, тёмным, и Нюра зажала рану ладонью, потом своей пилоткой, потом опять ладонью. Кровь шла сквозь пальцы. Она вспомнила, что у неё в сумке есть индивидуальный пакет, и не могла вспомнить, где сумка.

— Слушай, — сказал Гаврилыч, не открывая глаз. — Третье.

— Не надо. Помолчите.

— Третье, — упрямо повторил старик, как на докладе. — Если влезли… смотри. Всё смотри. Запоминай. Ты почтовый человек. Ты потом расскажешь. Тебе поверят.

— Он тоже сказал. Что поверят.

Гаврилыч открыл глаза.

— Кто?

— Майор. Он сказал: ей поверят. Нам того и надо.

Старик смотрел на неё долго, и Нюра видела, как он думает, как собирает что-то в голове, медленно, через боль, как собирают по карманам последние медяки.

— Значит, врал, — сказал он наконец. — Ему надо, чтобы ты не то рассказала. Ты рассказывай то, что видела. Не что он сказал. Что видела. Поняла?

— Поняла.

— Руки видела?

— Видела, — сказала Нюра и удивилась, что действительно видела. — Белые. Пальцы длинные. И кольцо он снял. С левой руки. След остался.

— Молодец, — сказал Гаврилыч. — Почтовый человек.

Он хотел сказать что-то ещё, но не сказал. Пальцы его ещё держали её рукав, а потом разжались, сами, мягко.

Нюра не плакала. Она сказала себе осенью, что хватит, и не плакала. Она сидела в почтовом вагоне на разъезде Сухой Лог, среди мёртвых, и держала мёртвого старика за руку, а другой рукой, не думая, перебирала треугольники из госпиталя, рассыпанные по полу. Собирала их обратно в мешок, по одному. Письма были чужие. Их надо было довезти.

Капитан у стены ещё дышал. Она это поняла не сразу, а когда поняла, бросила мешок и поползла к нему.

Он смотрел на неё и улыбался. Нехорошо, страшно улыбался, одними губами.

— Девочка, — прошептал он. — Номер… эшелона… запомни.

— Какой номер?

— Всё равно. Скажи… им. Он не тот… Пакет не тот. Он думает… тот.

— Что? Товарищ капитан, что не тот?

Но капитан Пахомов уже ничего не ответил. Он так и умер, с улыбкой, и портфель лежал рядом с ним, пустой, раскрытый, с перекушенной цепочкой.

Через сорок минут к разъезду подошла дрезина из Ельца, потому что эшелон не прибыл в срок. На дрезине были трое путейцев и лейтенант из транспортного отдела, мальчишка с прыщами на подбородке. Лейтенант заглянул в почтовый вагон, отшатнулся и долго блевал на насыпь. Потом вытер рот рукавом, вернулся и спросил у Нюры, кто она такая.

— Ефрейтор Беляева, — сказала Нюра. — Военно-почтовая станция. Я почтовый человек.

Она сидела на мешках и держала в руках одно письмо. Треугольник с номером полевой почты, неровным детским почерком, адресованный «папе на фронт». Оно выпало у кого-то из мешка и лежало в чернилах, и Нюра всё вытирала его об шинель, вытирала и не могла вытереть.

— Что тут было, ефрейтор?

Нюра подумала про майора, про его руки, светлую полоску на безымянном пальце, хороший табак и одеколон. Про «барышню». Про первый снег и следы. Про то, что ей поверят и что им того и надо.

— Я буду говорить только с тем, кто главный, — сказала она.

Лейтенант посмотрел на неё, на её руки в крови и чернилах, и не стал спорить.

Над разъездом Сухой Лог светало. На шпалах лежал тонкий снег, и на нём темнели следы людей, пришедших в советской форме. В эшелоне ехали четыреста человек, и ни один не услышал выстрелов в хвосте: паровоз шипел, люди спали, а выстрелы в сорок первом году давно перестали будить.

Глава 2. Майор

Майора Сыромятникова разбудил не телефон, а часы.

Он проснулся за минуту до звонка, как просыпался всю жизнь, сам не зная почему. Полежал, глядя в потолок, на котором от сырости проступила карта несуществующего материка. Потом протянул руку к табуретке у кровати и взял часы.

Часы были серебряные, старые, на крышке стёрлась гравировка, но если повернуть к свету, ещё можно было прочесть: «С. Г. от сослуживцев. Ляоян, 1904». Ни С. Г., ни его сослуживцев давно не было на свете. Ляоян стал японским, потом китайским, потом опять японским. А часы шли. Майор заводил их каждый вечер, перед сном, двенадцать оборотов головки, ни больше ни меньше, и вчера завёл, а сейчас открыл крышку просто так, по привычке. Было без восьми пять.

Телефон зазвонил в без семи.

— Сыромятников.

— Товарищ майор, дежурный по отделу лейтенант Косых. На разъезде Сухой Лог налёт на эшелон. Почтовый вагон. Убит фельдъегерь, семь человек охраны и паровозная бригада. Товарищ генерал приказал вам выехать. Машина у вас через десять минут.

— Через пять, — сказал Сыромятников и положил трубку.

Он оделся так же, как просыпался: быстро, не думая, в темноте. Гимнастёрка с петлицами. Ремень, портупея, кобура с ТТ. И вторая кобура, под мышкой, самодельная, из старой офицерской планшетки. В ней лежал револьвер — тяжёлый смит-вессон с вытертой до белизны рукоятью. Хивинский. Тверь, Петербург, Москва, Елец. Длинная дорога для одного револьвера.

Табельный ТТ он носил, потому что так положено. А смит-вессон, потому что так надо.

Было ему пятьдесят три года. Он был сухой, жилистый, ростом ниже среднего. Волосы седые, коротко стриженные, а брови чёрные, будто их приставили от другого человека. Очки, круглые, в железной оправе, надевал только для чтения, а смотрел без очков, щурясь, и от прищура глаза казались насмешливыми, хотя насмешливыми они не были. За глаза его звали Савельичем. В лицо не звали никак: в лицо было «товарищ майор», и редко кто решался на большее.

Он умылся из рукомойника, холодной водой, посмотрел на себя в осколок зеркала над ним и сказал себе: «Ну, Митя». Больше ничего. Это у него осталось с молодости, с тех пор, когда его ещё звали Митей и было кому.

Машина пришла через четыре минуты.

* * *

Елец спал тревожно. Город был купеческий, каменный, на высоком берегу Сосны, весь в колокольнях. Теперь через него шли эшелоны к Туле и на южный край Московской обороны, а обратно — санитарные поезда и беженцы. Немцы приближались. На западе уже слышали далёкую канонаду. Поэтому город затемняли каждую ночь. Поэтому здесь работал Особый отдел армии. Поэтому майор Сыромятников жил в комнате с картой несуществующего материка на потолке и держал вещмешок собранным у двери.

Водитель, младший сержант Фомичёв, круглолицый, с вечным подсолнечным шелушением на губах, гнал виллис по просёлку вдоль железной дороги, и виллис прыгал на колдобинах, как козёл.

— Говорят, вагон весь в крови, товарищ майор, — сказал Фомичёв. — Говорят, девчонка одна живая осталась.

— Кто говорит?

— Так все говорят.

— Все говорят, а ты не говори, — сказал Сыромятников. — Смотри на дорогу.

Фомичёв замолчал и стал смотреть на дорогу.

Девчонка одна живая осталась. Сыромятников подумал, что так бывает. Что так бывает всегда. Кого-то всегда оставляют, чтобы было кому рассказать. Вопрос только в том, зачем оставляют.

Он думал об этом тридцать четыре года.

* * *

На разъезде Сухой Лог уже было людно. Стояла дрезина, стоял грузовик с бойцами из охраны тыла, стоял санитарный фургон. Эшелон давно увели в Елец, и почтовый вагон, отцепленный, остался один на запасном пути, и вокруг него ходили люди, курили, смотрели. Сыромятников вылез из виллиса, постоял, посмотрел на них, и они перестали ходить и курить.

К нему подбежал лейтенант Косых, дежурный, белобрысый, с припухшими со сна глазами.

— Товарищ майор. Убитых девять: шестеро в вагоне — фельдъегерь капитан Пахомов, двое его автоматчиков, двое наших конвойных и старшина почтовый. Ещё машинист с помощником у паровоза и стрелочник в будке. Стрелочник — ножом. Остальные — из автоматов. Наших трогать не давал, всё как было.

— Хорошо, — сказал Сыромятников. — Где капитан Тарханов?

— Ушёл по следу. С собакой и с четырьмя бойцами. Велел передать, что вернётся к обеду, а если не вернётся, то значит, догнал.

— Хорошо, — повторил Сыромятников. — Старший лейтенант Оболенцев?

— Едет из Касторной. Будет через час.

— Хорошо.

Он пошёл к вагону. Влез, тяжело, по-стариковски, ухватившись за поручень, и встал в дверях.

Он видел много мёртвых. Сыромятников служил в московском уголовном розыске двадцать лет, с восемнадцатого по тридцать восьмой, и начинал ещё тогда, когда бандиты ходили по Москве с пулемётами и грабили не квартиры, а целые улицы. Он видел людей, которых убивали топором, людей, которых убивали ради сапог, детей, которых убивали ради хлебной карточки. Он привык. Но почтовый вагон он видел так, как не видел ничего, никогда, потому что однажды, в девятнадцать лет, он сидел в таком же вагоне, на мешках, с фонарём в руках.

Сыромятников сказал себе: «Ну, Митя». И вошёл.

Он ходил по вагону долго. Минут сорок. Ничего не трогал. Смотрел. Смотрел на сержанта у ящика, на автоматчика среди карт, на спящего бойца, который так и не проснулся. Смотрел на капитана у стены, на портфель с перекушенной цепочкой. Нагнулся, поднял цепочку, посмотрел на срез. Ровный, чистый. Хорошие щипцы. Кто-то принёс с собой хорошие щипцы, а значит, знал про цепочку. Смотрел на старика на столе, лицом в чернила. Вздохнул, снял фуражку и постоял над стариком так, без фуражки, полминуты. Потом надел фуражку обратно.

У двери, на полу, было пятно крови, большое, растёртое. И отпечаток ладони на стене, на уровне плеча сидящего человека. Сыромятников надел очки и долго смотрел на этот отпечаток. Ладонь была широкая, короткопалая, и на мизинце не хватало фаланги. Человек сидел здесь, у двери, ранен в живот, и опирался рукой о стену, когда его поднимали.

— Капитан стрелял? — спросил Сыромятников, не оборачиваясь.

— Так точно, — сказал из-за спины Косых. — Два патрона из обоймы истрачено. Видать, попал в кого-то.

— Попал, — сказал Сыромятников. — Вот в этого. Беспалого. Тарханову передать, чтобы искал раненого. Его далеко не унесут. Если не донесут, бросят.

— Есть.

Он ещё раз обошёл вагон и вылез на насыпь. Солнце поднялось красное, ноябрьское. Поля были белыми от первого снега, посадка стояла чёрная, прозрачная. Майор снял очки, сложил их и сунул в карман гимнастёрки.

— Где девушка?

* * *

Девушка сидела в санитарном фургоне, на носилках, в чужой шинели, накинутой поверх своей. Рядом с ней сидела санитарка и держала кружку с чаем, а девушка кружку не брала. Руки у неё были в крови и чернилах. Она смотрела перед собой и, когда Сыромятников заглянул в фургон, не повернула головы.

— Выйди, — сказал он санитарке. Та выскочила, расплескав чай.

Сыромятников залез в фургон и сел напротив девушки на ящик с бинтами. Посмотрел на неё. Девятнадцать, может, двадцать. Курносая, скуластая, светлые волосы под пилоткой. Ефрейтор. На гимнастёрке ничего, ни медали, ни значка. Пальцы в чернилах. Почтовый человек.

— Ефрейтор Беляева?

— Так точно.

— Я майор Сыромятников. Особый отдел НКВД. Ты просила главного. Я главный. Рассказывай.

Девушка подняла глаза. Посмотрела на него, на его петлицы, на седую голову и чёрные брови. Глаза у неё были серые, сухие, без слёз, и Сыромятников подумал, что лучше бы она плакала.

— Откуда я знаю, что вы главный? — спросила она.

Сыромятников не обиделся. Ему понравилось.

— Ниоткуда, — согласился он. — Главного ты не узнаешь, Анна Ивановна, его никто никогда не видит. Главный в Москве, и он даже не знает, что ты есть на свете. А я узнаю. Ты мне расскажешь, а я узнаю. И тот, кто это сделал, тоже узнает, что я есть на свете. Это я тебе обещаю.

Она смотрела на него ещё секунду, а потом начала рассказывать.

Рассказывала она хорошо. Подробно, ровно, по порядку. Касторная, капитан, Гаврилыч и его правила. Торможение, стук в дверь. Майор Глушков, комендатура Ельца. Сыромятников слушал и смотрел на её руки. Одна рука всё время держала другую, будто боялась, что та уйдёт.

— Погоди, — сказал он. — Что он сказал? Когда дверь открыли. Повтори слово в слово.

— «Ну наконец-то. Барышня, вы бы не боялись. Мы не кусаемся».

— Барышня, — повторил Сыромятников.

— Барышня, — сказала Нюра. — Так никто не говорит. Я ещё тогда подумала.

Майор молчал. Он сидел, опустив голову, и смотрел на свои руки, и девушка увидела, что у него на правой руке, на тыльной стороне ладони, старый белый шрам, неровный, как от ожога.

— Дальше, — сказал он.

Она рассказала дальше. Про выстрел, про Кравчука, про трёх в плащ-палатках. Про Гаврилыча, который закрыл её собой. Про щипцы. Про «свети сюда». И тут Сыромятников поднял голову.

— Как он сказал?

— «Свети. Сюда, на замок. Не трясись, барышня. Мешаешь».

Майор медленно снял фуражку и положил её на колено. Лоб у него был белый, гладкий, а ниже лба лицо было тёмное, обветренное, как у крестьянина. На лбу выступил пот.

— Руки его видела?

— Видела. Белые. Пальцы длинные. Ногти чистые. Кольцо он снял, с безымянного, с левой руки. Там полоска осталась, светлая. Гаврилыч сказал мне перед смертью: смотри, всё смотри, ты почтовый человек, тебе поверят. И я смотрела.

— Он тебя пожалел, — сказал Сыромятников. Не спросил, сказал.

— Он сказал, что я им пригожусь. Что мне поверят и им того и надо. А Гаврилыч сказал, значит, врал. Что ему надо, чтобы я не то рассказала. Чтобы я рассказала, что он сказал, а не что я видела.

— Умный был старик.

— Умный, — сказала Нюра, и губы у неё задрожали в первый раз. Она их сжала. — Он вас знал. Вы ведь Сыромятников?

Майор поднял брови.

— Он про вас рассказывал. Вчера. Как раз перед тем. Про вагон под Тверью, в девятом году. Что мальчишка остался жив и потом ушёл к следователю. Сыромятников, сапожника сын. Сказал, что ваш отец ему сапоги шил. Это вы?

Сыромятников долго не отвечал. Он сидел на ящике с бинтами, держал фуражку на колене и смотрел мимо девушки, в стенку фургона, где была нарисована масляной краской санитарная звезда, а под ней кто-то нацарапал гвоздём «Вася + Маня».

— Я, — сказал он наконец. — Значит, Гаврилыч. Лунин Иван Гаврилович. Мясницкая, почтамт, второй стол от окна. Он мне в первый день леденцов насыпал, полный карман. Мне было восемнадцать, я был новенький. Я его не узнал там, в вагоне. Он лицом вниз лежит.

Нюра молчала.

— Мне тогда сказали, — продолжал майор тихо, будто сам себе, — когда всё кончилось. Один человек сказал. Жандарм. Хороший был человек, его потом тоже… Сказал: «Лет через десять кто-нибудь спросит, как было. Расскажи». Никто не спросил. Ни через десять, ни через двадцать. А теперь вот ты рассказываешь мне. Видишь как.

Он надел фуражку.

— Дальше. Что было, когда он ушёл?

Она рассказала про капитана. Про то, как он улыбался. Про его последние слова.

— «Пакет не тот», — повторил Сыромятников. — «Он думает, тот». Точно так?

— Точно. И про номер эшелона. Но номер он не сказал. Сказал: всё равно, скажи им.

Сыромятников встал. Фургон был низкий, и майору пришлось нагнуть голову.

— Ты, Анна Ивановна, будешь пока при мне, — сказал он. — Не при почте. При мне. Я напишу, тебя переведут.

— Зачем?

— Затем, что ты его видела. А он тебя оставил. Это две вещи, и обе мне не нравятся. Первая значит, что ты его узнаешь, если увидишь. Вторая значит, что он думает, будто это неважно. Я хочу, чтобы он ошибся.

— А почта?

— Почту довезут, — сказал Сыромятников. — Письма чужие. Их довезут без тебя.

Нюра посмотрела на свои руки в чернилах. Потом протянула майору треугольник, который всё это время держала зажатым в кулаке. Детский почерк. «Папе на фронт».

— Это надо отправить, — сказала она. — Оно выпало. Я не успела в мешок.

Сыромятников взял треугольник, посмотрел на номер полевой почты. Потом аккуратно, обеими руками, положил его во внутренний карман гимнастёрки, туда, где лежало его собственное удостоверение.

— Отправлю, — сказал он. — Сам.

* * *

Из фургона он пошёл не к машине, а в сторону, к посадке, по мокрой траве. Встал под кривой берёзой и долго стоял, глядя на полотно, на разъезд, на будку стрелочника, у которой суетились санитары.

«Барышня». «Свети сюда». Белые руки, длинные пальцы.

Тридцать четыре года назад, под Тверью, другой человек в чужой форме сказал «господа». И сказал «свети». И у него были белые руки с длинными пальцами. Того человека звали Семён Кривошеин, он был актёр, и его объявили мёртвым в декабре девятого года, а Сыромятников точно знал, что он не умер, потому что так сказал ротмистр Ведерников, а Ведерников не ошибался в людях. Ни разу, кроме одного.

Сейчас Кривошеину было бы шестьдесят четыре года. Нюра сказала, что майору под сорок. Значит, не он. Не может быть он. Сыромятников знал это так же твёрдо, как знал свою фамилию.

И всё равно стоял под берёзой и чувствовал, как у него холодеют пальцы.

Кто-то знал. Кто-то, кто устроил эту ночь, знал про ту ночь. Знал слова. Знал, как это было. Не просто ограбил почтовый вагон, а сыграл его, как пьесу, по старому тексту, с теми же репликами. Для кого? Для девятнадцатилетней девчонки, которая про ту ночь не слышала до вчерашнего вечера? Для старика почтальона, которого убили? Нет.

Для того, кто услышит потом. Кому девчонка расскажет. Кто узнает реплики.

«Ей поверят. Нам того и надо».

Сыромятников достал часы Глинского и открыл крышку. Было без двадцати семь. Утро. Часы шли.

— Ну, Митя, — сказал он. — Здравствуй.

Он не знал, кому это сказал. Себе. Или тому, кто играл эту пьесу и, может быть, знал, что в первом ряду будет сидеть старый зритель, который видел премьеру.

Потом он закрыл часы, спрятал их в карман и пошёл к виллису. Надо было ехать к генералу. Надо было узнать, что было в пакете и почему пакет был не тот.

Глава 3. Капитан Тарханов

Капитан Георгий Тарханов не любил собак, а собаки любили его.

Это было несправедливо, и капитан это понимал, и от этого не любил их ещё больше. Овчарка Найда, рыжая, с подпалинами, взятая напрокат у пограничников из охраны тыла, увидела его утром у вагона, подошла, обнюхала сапог, вздохнула и легла ему на ногу, как на родное. Проводник, сержант Кудимов, только руками развёл.

— Признала, товарищ капитан.

— Пусть не признаёт, — сказал Тарханов. — Пусть работает.

Найда встала и пошла работать.

Был Тарханов высокий, широкий в плечах, с длинными руками и с длинными чёрными усами, которые он подкручивал, когда думал, и дёргал, когда злился. Лицо у него было смуглое, горбоносое, весёлое, а над левой бровью белел шрам, короткий и аккуратный, будто бровь когда-то расстегнули, а потом застегнули на пуговицу. Носил он гимнастёрку с орденом Красного Знамени и пограничную фуражку, хотя пограничником давно не был. Если бы ему позволили, он носил бы кубанку. Кубанка у него была, лежала в вещмешке, чёрная, с красным верхом, и он надевал её по праздникам и когда напивался, а напивался по праздникам.

Родом он был со станицы Пашковской под Краснодаром, из казаков. Отец его был есаулом у Шкуро и сгинул в двадцатом году где-то под Новороссийском, а может, уплыл в Турцию, никто не знал. Георгий об этом в анкетах не писал, а писал, что отец погиб в Гражданскую, и это была правда, потому что для него отец погиб. Вырос он у деда, который учил его рубить лозу, ставить капканы и петь. Рубить лозу ему пригодилось не очень. Капканы пригодились. Петь пригодилось больше всего.

В тридцать девятом году его, кадрового пограничника, перевели на новую границу, на реку Сан, в город Перемышль. Там его застало двадцать второе июня. Тарханов был тогда лейтенантом, начальником заставы, и его застава держалась одиннадцать часов, а потом, когда немцы ушли вперёд и забыли про неё, ещё девять дней сидела в лесу и выходила к своим. Из шестидесяти четырёх вышли девятнадцать. За это ему дали Красное Знамя. А то, что он видел в эти девять дней, ему не дали забыть.

После этого он стал другим человеком, и смеялся по-другому, и пел по-другому. Сыромятников, когда забирал его к себе в группу из армейского полка, спросил, умеет ли он брать живыми. Тарханов сказал: «Смотря кого». Сыромятников подумал и сказал: «Мне подойдёт».

* * *

Найда взяла след у двери почтового вагона и сразу пошла через насыпь, в посадку, а через посадку в поле. Тарханов шёл за ней, а за ним шли четверо: сержант Кудимов с поводком, двое автоматчиков из охраны тыла, Ильин и Магомедов, и младший сержант Пчёлкин, которого Тарханов взял потому, что тот умел ходить по лесу тише кошки, а говорил при этом больше сороки.

— Товарищ капитан, — сказал Пчёлкин на второй минуте. — А правда, что вы на Перемышле немецкого генерала шашкой зарубили?

— Неправда.

— А говорят.

— Говорят, что кур доят, — сказал Тарханов. — Пчёлкин. Если я ещё раз тебя услышу до того, как увижу немца, я тебе язык на ус намотаю. У меня их два, на оба хватит.

Пчёлкин заткнулся.

След шёл ровно, без петель, прямо через озимое поле к просёлку. На краю поля, у межи, Найда покрутилась и села.

Тарханов присел рядом. Здесь, у межи, трава была примята широко, и было видно, что тут постояли, сгрудились, потоптались. Он поднял из травы гильзу, маленькую, пистолетную. Понюхал. Потом поднял окурок. Окурок был необычный. Не самокрутка, не «Беломор», а сигарета, тонкая, с остатком золотой полоски у мундштука. Тарханов повертел её, снова понюхал.

— Ишь ты, — сказал он. — Барин.

— Чего там, товарищ капитан?

— Табак хороший. Не наш. Не трофейный даже. Трофейный дрянь, а этот хороший. — Он завернул окурок в бумажку и спрятал в нагрудный карман. — Тут они ждали. Тут машина стояла. Гляньте, колея.

Колея была. От межи, по полю, к просёлку, свежая, глубокая, с крупным рисунком протектора.

— Полуторка, — сказал Кудимов.

— Нет. ЗИС-6. Американский. У полуторки протектор мельче. — Тарханов встал и посмотрел вдоль просёлка. Просёлок уходил на север, к лесу, синевшему на горизонте. — Американские машины у нас в тылу только на автобатах. Значит, либо у них машина краденая, либо документы на неё хорошие. Ладно. Найда, работай.

Найда работать не стала. Найда смотрела в сторону, в поле, туда, где стояла одинокая старая груша, корявая, с наполовину обломанной кроной. Смотрела и скулила тихонько, не по-рабочему.

— Там, — сказал Кудимов. — Там чего-то.

Тарханов посмотрел на грушу. Потом снял с плеча автомат.

— Ильин, Магомедов, вправо, по меже, на сто шагов. Пчёлкин со мной. Кудимов, держи собаку.

Они пошли к груше пригнувшись, по пашне, и пашня липла к сапогам пудовыми комьями. За сорок шагов Тарханов лёг и пополз. Пчёлкин пополз за ним, и капитан с удивлением слушал, что Пчёлкина не слышно совсем. Под грушей была ложбина, неглубокая, заросшая прошлогодним бурьяном. Из бурьяна торчал сапог.

Сапог не двигался.

Тарханов подполз, раздвинул бурьян стволом автомата. В ложбине лежал человек на спине, в плащ-палатке, раскинув руки. Лет сорока, седой, с землистым лицом. Гимнастёрка на животе почернела от крови. А на лбу, точно посередине, была маленькая аккуратная дырочка, и вокруг неё кожа обгорела. Стреляли в упор.

— Свои добили, — сказал Пчёлкин шёпотом.

— Тихо.

Тарханов наклонился и взял мёртвого за руку. Правую. На мизинце не хватало фаланги. Капитан кивнул сам себе: тот самый, про которого передавал через Косых старик. «Беспалого ищи. Далеко не унесут». Не унесли. Донесли до машины, потом подумали и вынесли обратно. Не стали тащить с собой раненого, который будет кричать, и не стали оставлять живого, который будет говорить.

— Знакомый? — спросил Пчёлкин.

— Теперь знакомый.

Он стал обыскивать. В карманах плащ-палатки ничего. В карманах гимнастёрки красноармейская книжка, сложенная пополам, справка из госпиталя, вещевой аттестат. Жетона смертника нет. Деньги, триста рублей, советские, мятые. Кисет с махоркой. Зажигалка, самодельная, из гильзы. Фотокарточка: женщина с ребёнком, на обороте «Петеньке от Шуры и Вовки. 1940 г.». Тарханов посмотрел на фотокарточку долго. Женщина на ней была некрасивая, усталая, а мальчик держал в руках деревянную лошадку и смотрел в объектив так серьёзно, будто его фотографировали для документа.

— Сволочь, — сказал Тарханов. Непонятно про кого: про мёртвого или про того, кто его добил. Спрятал фотографию вместе с документами за пазуху.

Под гимнастёркой, на голом теле, на шнурке, у мёртвого висел маленький кожаный мешочек. Тарханов развязал его. Внутри лежала ампула, стеклянная, в ватке. И бумажка, свёрнутая в трубочку, тонкая, папиросная.

Он развернул её. На бумажке ничего не было. Совсем ничего, белая.

— Что там?

— Ничего. — Тарханов свернул бумажку обратно. — Пустая. Пускай Оболенцев смотрит. Он умный, он в институте учился. Пускай нагреет, или полизает, или что они там делают.

Он встал, и в этот момент с той стороны, от просёлка, ударил пулемёт.

* * *

Первая очередь прошла по груше, сбила кору, ветки, посыпалось сверху. Тарханов упал в ложбину, на мёртвого, и потащил за собой Пчёлкина за воротник. Вторая очередь прошлась по краю ложбины, взбила землю, и комья земли застучали по каске Пчёлкина, как град по ведру.

— Откуда?! — заорал Пчёлкин.

— Из пулемёта! Голову не поднимай!

Стреляли из посадки за просёлком, метров с двухсот. Ручной пулемёт, судя по звуку, немецкий, МГ, тот, что солдаты звали «пилой». Короткими очередями, умело, экономно. Справа, по меже, ответили автоматы Ильина и Магомедова, пулемёт перенёс огонь на них, и Тарханов, пользуясь этим, выглянул.

Посадка была редкая, зимняя, прозрачная. На чёрных ветках лежал снег. Тарханов увидел вспышки. Одна точка. Значит, один пулемётчик. Оставили прикрыть отход или посмотреть, кто пойдёт по следу.

— Пчёлкин. Ты по лесу ходишь тихо. А по полю?

— Так же, товарищ капитан.

— Тогда так. Я сейчас начну шуметь. А ты ползи туда, влево, по бороздам, вон до того кустика. И оттуда заходи ему во фланг. Не стреляй, пока не увидишь его лица. Понял?

— Понял. А вы?

— А я буду петь, — сказал Тарханов.

Он перевернулся на спину, набрал в грудь воздуху и запел. Громко, во весь голос, так, что было слышно, наверное, на разъезде:

— Ой, на горі та женці жнуть!..

Пулемёт на секунду замолчал. Тарханов представил себе, как пулемётчик там, в посадке, поднимает голову от прицела и не понимает, что происходит. Потом пулемёт заработал снова, бешено, длинной очередью, по груше, по ложбине, по поющему капитану. Пули визжали над головой, сшибали бурьян. Тарханов лежал в ложбине, в обнимку с мёртвым, и пел.

— А попід горою, яром-долиною, козаки йдуть!..

Пчёлкин уполз. Тарханов его не видел и не слышал, и только надеялся. Он допел куплет до конца и начал второй, и тут справа, со стороны межи, кто-то закричал. Тонко, по-заячьи. Магомедов. Автомат Магомедова замолчал. Тарханов оборвал песню, выругался длинно и грязно, по-казачьи, вскочил и побежал. Не к Магомедову, а вперёд, на пулемёт, через поле, прямо, во весь рост, стреляя от живота.

Это было глупо. Он это понимал, пока бежал. Пулемётчик мог срезать его одной очередью, с двухсот, со ста пятидесяти, со ста шагов. Он видел, как ствол пулемёта поворачивается к нему, медленно, слишком медленно, как во сне. Видел вспышку. Что-то дёрнуло его за левый рукав. Он продолжал бежать.

А потом пулемёт замолчал, и в посадке хлопнул одиночный выстрел. Один.

Тарханов добежал до посадки, упал за дерево, отдышался. Подождал. Тихо.

— Пчёлкин!

— Тут я, товарищ капитан!

Пчёлкин сидел на корточках над пулемётом, бледный, с трясущимися губами, и держал в руках трофейный парабеллум. Почему у Пчёлкина в руках парабеллум, а не его автомат, Тарханов не понял, но спрашивать не стал. Рядом с пулемётом лежал человек в плащ-палатке, ничком. Под ним расплывалось красное.

— Я ему в ногу, — сказал Пчёлкин. — Вы ж велели не стрелять, пока лица не увижу. Я лица не увидел. Я ему в ногу. А он… он сам. Себе. В рот. Из этого. Я не успел, товарищ капитан, я не успел, он сам…

— Ладно, — сказал Тарханов. — Ладно, Пчёлкин. Ты молодец.

Он перевернул мёртвого. Молодой, лет двадцати пяти, скуластый, с белёсыми бровями. Лица почти не было. Тарханов отвернулся. Пчёлкина вырвало в кусты.

— Это ничего, — сказал Тарханов, не глядя на него. — Это бывает. Меня на Перемышле три дня рвало. Потом прошло. — Он посмотрел на свой рукав. Рукав гимнастёрки был разорван от локтя до плеча, и на руке была красная полоса, неглубокая, как от кнута. — Вот, гляди. Чуть не убили. Батька бы сказал: дурень ты, Жорка, дурень и есть.

* * *

Магомедова ранило в бедро. Пуля прошла навылет, кость не задела. Он лежал на меже, белый, и ругался на трёх языках, на русском, на аварском и на каком-то третьем, которого никто не знал. Ильин перетягивал ему ногу ремнём. Найда сидела рядом и лизала Магомедову руку, а Кудимов говорил, что это хороший знак, раз собака лижет, значит, жить будет.

— Мне не надо, чтобы собака, — сказал Магомедов. — Мне надо, чтобы фельдшер.

— Будет тебе фельдшер, — сказал Тарханов. — Ильин, тащи его к разъезду. Кудимов, с ним. Найду оставь мне.

— Так ведь она без меня работать не станет, товарищ капитан.

— Станет, — сказал Тарханов, и Найда, будто поняв, отошла от Магомедова и села у его ноги.

Они пошли дальше вдвоём с Пчёлкиным. Найда вела. След машины шёл по просёлку на север, к лесу, и в лесу, в полутора километрах, кончился.

ЗИС-6 стоял на лесной дороге, на обочине, загнанный задом в ельник. Брезент кузова был откинут. Кабина пустая. Двигатель ещё тёплый, если приложить ладонь. На борту белой краской: номер автобата, звёздочка. Всё как надо.

Тарханов обошёл машину кругом. Потом залез в кузов. В кузове ничего не было, только солома, окровавленная, в углу. И ещё лежала одна вещь. Он поднял её и долго разглядывал. Маленький стеклянный пузырёк, пустой, с притёртой пробкой, от одеколона. Этикетка французская, наполовину соскобленная. «Шипр».

— Барин, — сказал Тарханов. — Точно барин. Сигаретки, одеколончик. Ладно.

Следы от машины шли во все стороны. Тарханов насчитал пять человек, может шесть, и следы эти расходились от машины веером, в разные стороны, в лес. Поодиночке. Найда бросалась то к одному, то к другому, металась, скулила. Потом села и посмотрела на Тарханова виновато.

— Ушли, — сказал Пчёлкин. — Разошлись.

— Разошлись, — согласился Тарханов. — Не к фронту, заметь. Фронт там, на юго-запад. А они вон, на север и на восток. В тыл. — Он подкрутил ус. — Значит, им не домой. Значит, они тут остаются. Пакет у них, а они остаются. Значит, пакет им не нести. Значит, пакет кто-то передаст. По рации, или с кем другим. А эти тут нужны. Для чего-то ещё.

Пчёлкин смотрел на капитана с восхищением, разинув рот.

— Пасть закрой, — сказал Тарханов. — Муха залетит.

Он сел на подножку ЗИС-6, стащил фуражку и вытер лоб рукавом. Мороз щипал мокрое лицо. Пахло снегом, бензином и одеколоном «Шипр».

— Был у меня на Перемышле старшина, — сказал Тарханов. — Ваня Гладкий. Он говорил: если враг от тебя бежит, ты его не догоняй, а думай, куда он прибежит. Там его и встречай. Ваня Гладкий был умный человек. Его на третий день в болоте убили. Он полез немца встречать, а немец уже пришёл.

Он надел фуражку и встал.

— Пошли докладывать старику. Он любит, когда я не догнал. Говорит, это значит, я думал.

Найда поднялась и пошла рядом с ним, у самой ноги, не на поводке. Тарханов покосился на неё и вздохнул.

— Ты, рыжая, на меня не рассчитывай, — сказал он. — Я тебя Кудимову верну. Мне собака не нужна.

Найда махнула хвостом. Она ему не поверила.

Глава 4. Следователь

Старший лейтенант Николай Оболенцев приехал на разъезд Сухой Лог в десятом часу, на попутной полуторке, и первым делом извинился перед водителем за то, что занимал так много места.

Водитель, пожилой солдат с вислыми усами, посмотрел на него с жалостью. Места Оболенцев занимал мало. Он был тонкий, узкоплечий, в очках, с худой шеей, торчащей из воротника гимнастёрки, как стебель из стакана. Гимнастёрка была ему велика. Ремень он затягивал на последнюю дырку и ещё одну проколол сам, шилом. Было ему двадцать четыре года, а выглядел он на девятнадцать, и на станциях его иногда принимали за студента, отставшего от эвакуации, и спрашивали, где мама.

У левого виска у него была родинка. Небольшая, тёмная, и когда он задумывался, то трогал её пальцем, сам не замечая.

— Вы ж не надо извиняться, товарищ старший лейтенант, — сказал водитель. — Вы ж начальство.

— Начальство тоже должно извиняться, — сказал Оболенцев. — Иначе оно становится невыносимым.

Водитель подумал над этим, ничего не понял и уехал.

* * *

Оболенцев был следователем. Это было его ремесло, и он относился к нему так, как относятся к ремеслу люди, которые выбрали его сами, а не получили по разнарядке. В тридцать девятом году он поступил в Московский юридический институт, на тот самый факультет, который до революции был юридическим факультетом университета. В сорок первом, после второго курса, пошёл добровольцем в ополчение, потому что так пошли все с курса, и под Вязьмой из всего курса уцелели трое. Он был одним из трёх. Ранен, госпиталь в Горьком, потом курсы. Когда кадровики узнали, что он свободно говорит по-немецки, его забрали в Особый отдел. Немецкому его учила с детства бабушка, мать отца, которая сама училась в Петербурге в немецкой школе Петришуле ещё при Александре Третьем и говорила, что русский человек должен знать язык своего врага лучше, чем враг знает его собственный.

Бабушка умерла в сороковом году, в Москве, от второго удара. Отца к тому времени уже три года не было.

Отца арестовали в ноябре тридцать седьмого. Ночью. Николаю было восемнадцать, он стоял в коридоре в одних трусах, босиком, и смотрел, как люди в штатском выносят из отцовского кабинета книги, папки, письма, рукописи, какие-то старые бумаги в картонных коробках. Отец стоял у окна, в пальто, уже одетый, и курил, хотя бросил курить пять лет назад. Когда его уводили, он остановился около сына, положил ему руку на плечо и сказал: «Коля. Позвони Дмитрию Савельевичу. Скажи, что я велел». И ушёл, не обернувшись.

Николай позвонил. Дмитрий Савельевич пришёл в тот же день, вечером, долго сидел в разорённом кабинете, курил и молчал. Потом сказал: «Твой отец, Коля, честный человек. Это тебе надо знать. А больше тебе ничего знать не надо». Через полгода Дмитрия Савельевича уволили из МУРа, «за утрату политической бдительности и связь с разоблачённым врагом народа». А ещё через месяц матери Николая сообщили, что муж её осуждён на десять лет без права переписки.

Николай ждал. Десять лет кончались в сорок седьмом. В анкете он написал про отца всё как есть. Анкету долго не подписывали. Потом подписали. Он не знал, кто поручился, а когда в сентябре сорок первого его перевели в группу майора Сыромятникова, догадался, но спрашивать не стал.

Они с Сыромятниковым никогда не говорили об отце. Ни разу. Но иногда Николай ловил на себе взгляд майора, долгий, задумчивый, будто тот смотрел не на него, а на кого-то другого, кто стоял у него за спиной.

* * *

Оба тела лежали рядом на брезенте у будки стрелочника. Снег вокруг был истоптан и сер от угольной пыли. Оболенцев посмотрел на мёртвых, снял очки, протёр, надел и стал смотреть снова. На лица он не смотрел. Его интересовали карманы.

Документы беспалого Тарханов отдал ему сразу, у вагона, вместе с окурком, пузырьком «Шипра» и пустой бумажкой. Отдал и сказал: «Колдуй, студент». Оболенцев сел на ящик у будки, разложил всё на коленях, на планшетке, и стал колдовать.

Красноармейская книжка. Петров Пётр Васильевич, 1903 года рождения, уроженец Тамбовской области, Мичуринский район, село Глазок. Рядовой. Номер части. Фотография: тот самый, беспалый, моложе и с волосами потемнее. Печать. Подпись командира части. Справка из эвакогоспиталя, выписан после ранения. Вещевой аттестат.

Всё было правильно. Всё было в порядке. Оболенцев видел сотни таких книжек, и эта была как все.

Он перелистнул её туда и обратно. Подержал на весу. Потом раскрыл посередине, где страницы держались на скрепках, и поднёс к самым глазам.

Скрепки были чистые. Блестящие. Ни пятнышка ржавчины.

Оболенцев медленно положил книжку на колено. Достал из кармана гимнастёрки свою собственную, офицерскую книжку и раскрыл её посередине. Скрепки в ней были рыжие. Ржавые, как старый гвоздь. Он носил её на теле, в кармане, полтора года, в жару, в дождь, в снег, в пот, и железо поржавело, как ржавеет всякое железо.

А у Петрова Петра Васильевича, который тоже носил свою книжку на теле, если верить датам, с сорок первого года, скрепки были как новые. Потому что это было не железо. Это была нержавеющая сталь. Немецкая. У немцев в типографиях, в Берлине или где там они печатали поддельные советские документы, не было обычных скрепок, а были хорошие. Немцы делали всё хорошо. И это их выдавало.

— Ну что, студент? — Тарханов, умытый, с перевязанной рукой, присел рядом на корточки. — Наколдовал?

Оболенцев показал ему обе книжки, раскрытые посередине. Тарханов посмотрел. Потом посмотрел ещё раз. Потом поднял глаза на Оболенцева, и в глазах у него было уважение.

— Скрепки, — сказал он.

— Скрепки.

— А у нас ржавые.

— А у нас ржавые, — согласился Оболенцев. — У нас всё ржавеет, Георгий Петрович. Это и есть наше главное оружие.

Тарханов захохотал. Громко, на весь разъезд, так, что санитары у фургона обернулись.

— Вот за это я тебя люблю, студент. Ты как скажешь, так хоть в газету. — Он отсмеялся и стал серьёзным. — Значит, книжка липовая.

— Книжка настоящая, — сказал Оболенцев. — Бланк, может, и не настоящий, но бланк можно и захватить. А вот собрана она в Германии. И скреплена там. Петров Пётр Васильевич, может быть, и правда существовал. Может, его в плен взяли, а книжку забрали, а потом переделали. Фотографию переклеили. Может, этот, — он кивнул на мёртвого, — и есть Петров. Только служил он в последний год не в той части, которая тут написана.

— А фотокарточка? Шура с Вовкой?

— Посмотрим. — Оболенцев взял фотокарточку, повертел. — Это настоящая. Довоенная. Тамбовский фотограф, вот штамп на обороте: «Фотография Гольдберга, Мичуринск». Её

он носил с собой с сорок первого. Если это Петров, то жена его Шура, сын Вова, живут в Глазке, Мичуринский район. Их можно найти.

— Зачем?

— Затем, Георгий Петрович, что кто-то должен им сказать.

Тарханов помолчал.

— Что сказать? Что он предатель?

— Что он умер, — сказал Оболенцев. — Остальное потом. Если будет нужно.

Тарханов посмотрел на него долгим взглядом, и Оболенцев, не поднимая головы, почувствовал этот взгляд. Он знал, что Тарханов думает. Тарханов думал, что он, Оболенцев, жалеет предателя, потому что сам сын «врага народа». Многие так думали. Пусть думают.

— Ладно, — сказал Тарханов. — Бумажку смотреть будешь?

* * *

С бумажкой было сложнее.

Она была папиросная, тонкая, сантиметров десять на пять, и абсолютно чистая с обеих сторон. Оболенцев посмотрел её на свет. Ничего. Понюхал. Пахло телом, кожей мешочка, чуть-чуть луком.

— Лук, — сказал он.

— Чего лук?

— Лук. Луковым соком пишут, Георгий Петрович. Ещё до революции так писали, в тюрьмах. Молоком пишут, лимонным соком, луковым. Потом над огнём греют, и проступает. Отец рассказывал. — Он запнулся, но только на полсекунды. — Нужна лампа. Или спичка. Только аккуратно, чтобы не сжечь.

Тарханов достал зажигалку. Оболенцев посмотрел на неё, покачал головой.

— Сильно. Мне бы свечку.

Свечку нашли у стрелочника, в будке, огарок, под образком Николая Угодника, который стрелочник прятал за расписанием. Стрелочник лежал тут же, под брезентом, и больше уже ничего не прятал. Оболенцев зажёг огарок, взял бумажку двумя пальцами, за самый уголок, и стал водить её над пламенем, высоко, медленно, как будто сушил.

Минуту ничего не было. Потом бумажка начала желтеть, неровно, пятнами. И на ней, бледно, коричневым, стали проступать буквы.

Не буквы. Цифры. Столбики цифр, по пять в каждой группе. Семь групп. А внизу, отдельно, одна буква, латинская, и после неё точка.

«F.»

— Шифр, — сказал Тарханов.

— Шифр, — сказал Оболенцев. — Пять цифр, группы. Это не текст. Текста слишком мало. Это, скорее, расписание. Время выхода в эфир, частоты, позывной. У них рация. Где-то здесь, недалеко, у них есть рация. Или будет.

— А «F» что?

— Не знаю. — Оболенцев смотрел на букву. — Подпись. Или имя. Или название операции. У немцев операции называют словами. Обычно цветами, или зверями, или городами. «F» может быть что угодно. «Фальке», сокол. «Фукс», лиса. «Фрюлинг», весна.

— Фриц, — сказал Тарханов.

— Может, и Фриц.

* * *

Сыромятников вернулся на разъезд в начале двенадцатого. Он уезжал к генералу и вернулся, и Тарханов с Оболенцевым поняли по его лицу, что разговор был нехороший. Майор вылез из виллиса, подошёл к будке, посмотрел на мёртвых. Потом сел рядом с Оболенцевым на ящик и протянул руку.

— Показывай.

Оболенцев показал. Скрепки. Фотографию. Бумажку. Сыромятников надел очки и долго, очень долго смотрел на скрепки. Потом на бумажку. Потом снял очки.

— Хорошо, Николай Андреевич, — сказал он. — Очень хорошо. Скрепки, это хорошо. Скрепки, это теперь все знают, но ты сам увидел, не по инструкции. Это хорошо.

— Это не я придумал. Так поддельные документы распознавали ещё до войны…

— Знаю. Все знают. А ты увидел. Это разные вещи. — Сыромятников спрятал очки в карман. — Отец твой тоже видел. Он мне в девятом году показывал, как печать на паспорте подделывают. Сырой картошкой. Сырой картошкой, Коля, можно сделать любую печать Российской империи. А потом он мне сказал: «Но у них, у поддельщиков, всегда одна беда. Они слишком стараются. Настоящая бумага небрежная. А поддельная всегда аккуратная». Вот и тут. Скрепки у немцев слишком хорошие.

Оболенцев молчал. Майор впервые за полгода произнёс при нём имя его отца, вот так, прямо, спокойно, без предисловий. И впервые назвал его Колей.

— Дмитрий Савельевич, — сказал он тихо. — Вы мне когда-нибудь расскажете?

— Про что?

— Про девятый год. Про отца. Про то, как вы с ним… Он ведь мне ничего не рассказывал. Я знаю только, что вы были у него письмоводителем. А больше ничего.

Сыромятников поднялся. Постоял, глядя на мёртвых.

— Расскажу, — сказал он. — Потом. Мне один человек сказал однажды: лет через десять кто-нибудь спросит. Прошло тридцать четыре. Ты первый. — Он повернулся к Тарханову. — Георгий Петрович. Окурок у тебя.

Тарханов отдал. Сыромятников развернул бумажку, понюхал окурок, повертел, посмотрел на золотую полоску у мундштука.

— «Ява»? — спросил Тарханов.

— Нет. Это не наш. Это английский. «Абдулла». Египетский табак, английская фабрика. До войны в Риге продавали, в Таллине. У нас таких сто лет не было. — Сыромятников вернул окурок. — Значит, человек привык к хорошему табаку. И к «Шипру». И к слову «барышня». И к тому, чтобы снимать кольцо, когда идёт на дело, а не забывать его дома. Значит, кольцо ему дорого. Не может с ним расстаться. Носит с собой, в кармане. Фамильное, может.

— Белоэмигрант, — сказал Тарханов.

— Может быть. — Сыромятников посмотрел на дорогу, туда, где за посадкой синел лес. — А может быть, нам надо, чтобы мы так думали. Это я ещё не знаю.

Он помолчал.

— Генерал сказал, что было в пакете. И почему капитан сказал, что пакет не тот. Плохо дело, ребята. Мы с вами за ночь получили очень плохое дело.

— Насколько плохое? — спросил Оболенцев.

Сыромятников посмотрел на него и ответил не сразу. Он смотрел на родинку у левого виска старшего лейтенанта. Тридцать четыре года назад, в Твери, у другого молодого человека, судебного следователя, была точно такая же родинка, на том же месте. Тот тоже трогал её пальцем, когда думал.

— Насколько может быть плохо дело, которое на весь фронт, Коля, — сказал майор. — Едем. Расскажу по дороге.

Глава 5. Что было в пакете

Генерал-майор Кондратьев пил чай из стакана в подстаканнике, и подстаканник у него был серебряный, с вензелем и с двуглавым орлом, у которого кто-то давным-давно аккуратно спилил короны.

Подстаканник этот генерал взял в восемнадцатом году на обыске у какого-то тамбовского предводителя дворянства и с тех пор не расставался с ним никогда. Пил из него в Тамбове, когда давили Антонова. Пил в Ташкенте, когда гоняли басмачей. Пил в Хабаровске, где служил до войны, и пил теперь здесь, в Ельце, в бывшем купеческом особняке на Торговой улице, где стоял отдел. Подстаканник прошёл с ним двадцать пять лет и три чистки, и генерал говорил, что если его когда-нибудь всё-таки расстреляют, то пусть подстаканник положат в гроб, потому что больше его никто не будет любить.

Был он лыс, толст, краснолиц, с маленькими голубыми глазками, которые смотрели на собеседника с весёлым и неприятным вниманием. Ругался он виртуозно, но только в одном случае: когда был спокоен. Когда же дело было по-настоящему плохо, генерал переставал ругаться и начинал говорить тихо, вежливо, на «вы», и все, кто его знал, в такие минуты старались стать как можно незаметнее.

Сейчас он говорил тихо и вежливо.

— Садитесь, Дмитрий Савельевич. Чаю?

— Спасибо, товарищ генерал.

— Это значит «да» или «нет»?

— Это значит «спасибо».

Генерал кивнул и налил. Сыромятников сел. Стакан был горячий, подстаканника ему не полагалось, и он держал стакан за краешек, двумя пальцами.

Это было в восемь утра. Сыромятников приехал с разъезда, ничего ещё не зная, кроме слов умирающего капитана, и генерал объяснил ему, что было в пакете. Объяснил подробно, тихо и вежливо. И теперь, в одиннадцать, по дороге обратно в Елец, Сыромятников пересказывал это Оболенцеву и Тарханову, сидя впереди в виллисе, вполоборота, и голос его был такой же тихий и вежливый, как у генерала.

* * *

— Немцы рвутся к Москве, — сказал Сыромятников. — Это знают все. На севере давят к Клину, на юге — к Туле и Кашире. Но их пехота на нашем участке тоже идёт вперёд. Если они возьмут Елец и перережут дорогу, южный край обороны посыплется.

— Ну, это все говорят, — сказал Тарханов.

— Наши готовят ответный удар. Где и когда — не спрашивайте. Я и сам знаю только то, что положено. Но для удара нужны свежие дивизии, танки, горючее, снаряды. Всё идёт по железной дороге. Через Елец, Узловую, Раненбург, Касторную. Последние резервы страны.

— Знаем. Видим.

— Немцы видят эшелоны с воздуха, но не знают, где их разгружают. Если решат, что все резервы ушли к Туле и Кашире, они продолжат давить на Москву и оголят фланг своей второй армии. Тогда наш удар из района Ельца станет для них неожиданным. Если узнают настоящее направление — успеют отвести части и закрыться.

Он помолчал.

— В пакете капитана Пахомова было расписание выгрузки резервных соединений на конец ноября и начало декабря. Номера эшелонов, станции, даты.

Оболенцев медленно снял очки.

— Это же…

— Подожди. — Сыромятников поднял руку. — Подожди, Коля. Это было расписание. Но расписание было не настоящее.

Тарханов присвистнул. Водитель Фомичёв, который всё слышал и делал вид, что не слышит, чуть не съехал в кювет.

— На дорогу смотри, — сказал майор, не оборачиваясь.

— Деза? — спросил Тарханов.

— Деза. Генштаб сделал всё как настоящее: номера частей, станции, время. Только направления подменены. Получается, будто последние резервы уходят к Туле, а под Ельцом у нас пусто. Пакет должны были отдать немцам позже и через такую цепочку, чтобы они поверили. А его взяли раньше времени — с кровью, на нашей дороге.

— Значит, капитан знал, — сказал Оболенцев. — Он сказал девочке: «Пакет не тот. Он думает, тот».

— Капитан знал. Капитан, генерал, ещё человек пять в Москве. Всё.

— Значит, немец сам себе свинью подложил! — Тарханов хлопнул себя по колену. — Пусть думает, что всё ушло к Туле. Пусть лезет к Ельцу, а мы ему во фланг…

— Георгий Петрович.

Тарханов осёкся.

— Они знали, что пакет едет. Знали эшелон, вагон и цепочку на запястье. Значит, здесь сидит их человек. На железной дороге или в штабе. И он видит настоящие составы. Когда немцы попросят проверить пакет, он посмотрит ведомости и поймёт, куда на самом деле ушли дивизии.

— Наш человек у них, — сказал Оболенцев. — Их человек у нас.

— Если он подтвердит, что пакет ложный, немцы поймут: удар готовится не у Тулы. Они усилят елецкое направление, сберегут фланг и, может быть, продолжат наступление на Москву ещё до того, как мы успеем перейти в контрнаступление.

Стало тихо. Только мотор виллиса гудел, и колёса стучали на колдобинах.

— А разоблачённая дезинформация подскажет им больше, чем настоящая бумага, — медленно сказал Оболенцев. — Они поймут не только где нас нет, но и где надо искать.

— Вот, — сказал Сыромятников. — Вот, Коля. Ты всё понял. Генерал мне это объяснял полчаса, а ты понял за минуту.

— А сколько у нас времени?

— Пакет у них со вчерашней ночи. Они его через фронт не понесут, это видно, раз их группа разошлась в тыл. Они его, скорее всего, сфотографировали и передадут по рации, кусками. Это несколько дней. Потом в Берлине, или где у них там, будут думать. И спросят своего человека. Спросят по рации. Он ответит по рации. Или через связника. — Сыромятников посмотрел на часы Глинского. — Генерал считает, неделя. Я думаю, меньше. Если этот человек умный, а он умный, он не будет ждать, пока спросят. Он сам скажет.

— А что Москва? — спросил Тарханов.

Сыромятников ответил не сразу.

— Москва прислала майора, — сказал он наконец. — Он прилетел сегодня утром. Ждёт нас в отделе.

* * *

Майор Шабанов ждал их в кабинете генерала, сидя на генеральском стуле, и генерал стоял у окна с подстаканником и смотрел на улицу.

Шабанову было лет тридцать пять. Был он красив той аккуратной, глянцевой красотой, которая бывает у людей с плакатов и у метрдотелей. Тёмные волосы, зачёсанные назад, блестели от бриолина. Гимнастёрка была из английского сукна, сапоги хромовые, сияли. На груди орден Красной Звезды и знак «Заслуженный работник НКВД». Пальцы у него были белые, мягкие, с полированными ногтями. Сыромятников посмотрел на его пальцы первыми, как все-

гда, и подумал, что такие пальцы не держали ничего тяжелее авторучки. Но авторучкой, подумал он ещё, тоже можно убить. Он видел, как это делается. В тридцать седьмом году он видел, как это делается каждый день.

— Майор Сыромятников, — сказал Шабанов, не вставая. — Наконец-то. Садитесь.

— Спасибо, — сказал Сыромятников и остался стоять.

Шабанов поднял на него глаза, светло-карие, очень внимательные. Потом посмотрел на Тарханова. Потом на Оболенцева. На Оболенцеве его взгляд задержался.

— Вы Оболенцев?

— Так точно, старший лейтенант Оболенцев.

— Николай Андреевич. — Шабанов улыбнулся, вежливо и холодно. — Сын Оболенцева Андрея Ивановича, осуждённого в тридцать седьмом году по статье пятьдесят восьмой, пункты шесть и одиннадцать. Шпионаж и участие в контрреволюционной организации.

Оболенцев побелел. Тарханов перестал крутить ус. Генерал у окна не обернулся.

— Так точно, — сказал Оболенцев. — Я это указал в анкете.

— Указали. Это хорошо, что указали. Честность, это хорошо. — Шабанов открыл папку, которая лежала перед ним на столе. — Вы вчера вечером были в Касторной, Николай Андреевич. С какой целью?

— По делу о хищении на продовольственном складе. По заданию майора Сыромятникова.

— По заданию. Хорошо. А фельдъегерь Пахомов сел в эшелон в Касторной. За десять минут до отправления. Вы его видели?

Оболенцев молчал секунду. Потом сказал:

— Нет. Я был на складе. Это в двух километрах от станции.

— Свидетели есть?

— Есть. Начальник склада, кладовщик, два бойца охраны.

— Хорошо. Проверим.

Сыромятников шагнул к столу.

— Товарищ майор. Я вас прошу.

— О чём, майор?

— Я прошу вас не тратить время. Старший лейтенант Оболенцев был в Касторной по моему заданию. Я за него отвечаю.

Шабанов посмотрел на него. Взгляд у него был доброжелательный.

— Вы отвечаете, — сказал он. — Вы, майор, за многих отвечали. Я читал ваше дело. В тридцать восьмом году вы тоже отвечали. За Оболенцева Андрея Ивановича. Ходатайствовали. Писали в прокуратуру. Вас за это уволили из МУРа. Но вы, я вижу, не поумнели.

В кабинете стало очень тихо.

Генерал повернулся от окна. Он был красен, как помидор, но говорил тихо, вежливо, на «вы».

— Майор Шабанов, — сказал он. — Вы здесь гость. Вы приехали из Москвы, у вас мандат, я его читал. Мандат у вас хороший. Но вы сидите на моём стуле. В моём кабинете. И разговариваете с моим офицером. — Генерал помолчал. — Майор Сыромятников работает в органах с восемнадцатого года. Тогда, майор, вам было десять лет, и вы, насколько я знаю, учились в школе второй ступени и пели в хоре. Я вас прошу встать с моего стула.

Шабанов посмотрел на генерала. Улыбнулся. Встал.

— Пожалуйста, товарищ генерал. Я не хотел никого обидеть. У меня задача. Москва ждёт результата. Если здесь у вас есть утечка, я должен её найти. Я буду проверять всех. И вас, товарищ генерал, тоже.

— Проверяйте, — сказал генерал. — Меня проверяли трижды. Вы будете четвёртый. Только не мешайте работать.

Он сел на свой стул, поставил подстаканник на стол и посмотрел на Сыромятникова.

— Докладывайте, Дмитрий Савельевич.

Сыромятников доложил. Коротко, по порядку. Вагон, убитые, свидетельница. Скрепки. Бумажка с цифрами и буквой «F». ЗИС-6, следы веером. Окурок «Абдуллы», «Шипр». Мёртвый беспалый, мёртвый пулемётчик. Шабанов слушал и записывал в блокнот, быстро, аккуратно, мелким почерком.

— И ещё одно, товарищ генерал, — сказал Сыромятников в конце. — Это не для протокола.

— Говорите.

— Тот, кто это сделал, знает про девятый год.

Шабанов поднял голову от блокнота.

— Про какой девятый год?

— Про тысяча девятьсот девятый год, — сказал Сыромятников. — Под Тверью, в июне девятого года, был налёт на почтовый вагон. Я был в этом вагоне. Мне было девятнадцать лет. Налётчик был переодетый, в форме путейца. Он сказал конвою «господа», так путейцы не говорят. Он сказал мне «свети сюда, на замок». У него были белые руки с длинными пальцами. Он оставил меня жить. — Майор помолчал. — Вчера ночью налётчик был в форме майора. Он сказал девушке «барышня», так майоры не говорят. Он сказал ей «свети сюда, на замок». У него белые руки с длинными пальцами. Он оставил её жить. И он сказал: «Ей поверят, нам того и надо».

Шабанов положил ручку.

— Вы хотите сказать, что это тот же человек? Тридцать четыре года спустя?

— Нет. Тому сейчас шестьдесят четыре. Этому сорок. Это не тот. Но этот знает про того. Знает в подробностях. Это не совпадение, товарищ генерал. Он сыграл ту ночь. Нарочно.

— Зачем? — спросил генерал.

— Не знаю. Пока не знаю.

Шабанов засмеялся. Негромко, но от души.

— Майор. Вы серьёзно? Немецкий абвер, лучшая разведка Европы, устраивает спектакль для вас лично, чтобы напомнить вам вашу юность? У вас, простите, не мания величия?

Сыромятников посмотрел на него спокойно.

— Может быть, и мания, — сказал он. — Только я тридцать четыре года служу и ни разу не видел, чтобы совпадение было таким подробным. Кто-то знает, товарищ майор. Кто-то из тех времён. Кто-то, кто читал тверское дело, или служил тогда, или слышал из первых рук. И если этот кто-то сидит у немцев, то мне интересно, кто он. А если он сидит у нас…

Он не договорил.

Генерал смотрел на него долго. Потом взял подстаканник, отпил чаю, поставил.

— Хорошо, — сказал он. — Не для протокола. Я понял. Работайте, Дмитрий Савельевич. Неделя у вас. Если через неделю их человек скажет им, что пакет фальшивый, то нам с вами можно будет не возвращаться в Москву. Нам вообще никуда можно будет не возвращаться.

— Понял, товарищ генерал.

— Майор Шабанов будет работать параллельно. Вы ему помогаете, он вам не мешает. — Генерал посмотрел на Шабанова. — Это понятно, майор?

— Вполне, — сказал Шабанов и улыбнулся.

* * *

Когда они вышли из кабинета, в коридоре Тарханов остановился и тяжело, с присвистом, выдохнул.

— Ох и гусь, — сказал он. — Ох и гусь лапчатый. Бриолином намазанный. Я б его, Дмитрий Савельевич, на Перемышле…

— Помолчи, Жора.

Тарханов замолчал. Майор впервые назвал его Жорой. Оболенцев стоял у стены, бледный, с поджатыми губами, и смотрел в пол.

— Коля, — сказал Сыромятников. — Иди к себе, расшифровывай цифры. Шифровальщикам отдай копию, оригинал оставь у себя. Никому не показывай. Особенно майору.

— Он будет копать под меня, Дмитрий Савельевич.

— Будет. Пусть копает. Ты в Касторной был на складе, свидетели есть. Пусть проверяет. Пока он проверяет тебя, он не мешает нам. — Сыромятников положил ему руку на плечо, и Оболенцев вздрогнул: так же клал ему руку на плечо отец, в ноябре тридцать седьмого, в коридоре. — Иди. Работай.

Оболенцев ушёл. Тарханов посмотрел ему вслед.

— Жалко пацана, — сказал он. — Затопчут.

— Не затопчут, — сказал Сыромятников. — Я не дам.

— А вы сами-то… Товарищ майор, вы ведь тоже…

— Я тоже. — Сыромятников достал часы Глинского, открыл, посмотрел. Полдень. — Я, Жора, в тридцать восьмом году год работал ночным сторожем на складе утильсырья в Марьиной Роще. Сторожил тряпки. Мне было сорок восемь лет, у меня было двадцать лет выслуги и три благодарности от Дзержинского. А я сторожил тряпки. Знаешь, что я там понял?

— Что?

— Что всякая власть рано или поздно вспоминает, что ей нужны люди, которые умеют работать. И приходит за ними. В сорок первом пришли за мной на склад и сказали: «Сыромятников, ты нам нужен». И я пошёл. Не потому, что простил. А потому, что немцы стояли под Москвой. — Он закрыл часы. — Государство, Жора, бывает дурное. Бывает несправедливое. Бывает злое, как собака. Но оно одно. Другого нам не дадут. И если мы его не защитим, его защитит майор Шабанов. А майор Шабанов умеет защищать только себя.

Тарханов подкрутил ус.

— Вы бы это, Дмитрий Савельевич, при Шабанове не говорили.

— При Шабанове я ничего не говорю, — сказал Сыромятников. — При Шабанове я молчу и слушаю. Пойдём. Мне надо поговорить с одним человеком на радиоперехвате.

— С каким?

— С тем, кто слушает немцев. Если у них тут рация, Жора, то её кто-то уже слышал. Немцы любят поговорить.

Глава 6. Флидер

Капитан Кацнельсон слушал эфир так, как другие люди слушают музыку: закрыв глаза, чуть наклонив голову набок и иногда шевеля пальцами в такт.

Он сидел в подвале бывшей женской гимназии на Ростовской улице, где теперь стояла радиостанция особого назначения, в наушниках, перед приёмником, и вокруг него сидели ещё шестеро, в таких же наушниках, перед такими же приёмниками, и все они молчали, и в подвале стояла такая тишина, что было слышно, как потрескивает в лампах ток. Пахло нагретой пылью, канифолью и махоркой. Окна были заложены мешками с песком. Над столом у Кацнельсона висела вырезанная из журнала фотография Эйнштейна со скрипкой, и кто-то пририсовал Эйнштейну петлицы.

Борису Ефимовичу Кацнельсону было сорок лет. Он был родом из Одессы, с Молдаванки, и с двадцать восьмого года занимался короткими волнами. Его позывной знали радиолюбители всего мира, от Аргентины до Новой Зеландии, и до войны он получал от них открытки, целые пачки, с марками, на которых были пальмы и королевы. Открытки эти в тридцать восьмом году ему поставили в вину, и он год просидел, а потом его выпустили, потому что следователя, который его посадил, посадили самого. Кацнельсон говорил, что ему повезло. Что в Одессе это называется «удачно вышло».

Он был маленький, лысоватый, с огромными чёрными глазами навыкате, как у грустной коровы, и с такими же огромными ушами. Уши у него были особенные. Он слышал в эфире то, чего не слышал никто. Не слова и не цифры, а людей.

— Каждый радист, Дмитрий Савельевич, стучит по-своему, — объяснял он, сняв наушники и вытирая лысину платком. — Это как почерк. Как походка. Один бьёт длинные тире, другой короткие. Один торопится, другой тянет. Один делает между группами паузу, а другой не делает. Один ставит в конце приветствие, а другой нет. Это называется «почерк радиста». Я вам, Дмитрий Савельевич, по почерку скажу, мужчина стучит или женщина, молодой или старый, выпил он вчера или нет. И если я слышал его один раз, то через год узнаю. Через десять лет узнаю.

— Почерк, — повторил Сыромятников.

— Почерк. Да. А что?

— Ничего. Один человек мне когда-то говорил про почерк. Что завитушки человек ставит, когда хочет, чтобы его заметили.

— Мудрый был человек, — сказал Кацнельсон. — Это прямо про радистов. Заметьте: хороший радист никогда не делает завитушек. А плохой делает. Или молодой. Или женщина.

— Почему женщина?

— Потому что женщина, Дмитрий Савельевич, хочет, чтобы её заметили, даже когда сидит в кустах с немецкой рацией. — Кацнельсон развёл руками. — Это не я придумал. Это природа.

Тарханов, стоявший у стены, хмыкнул.

— Так. — Сыромятников сел на табурет рядом. — Рассказывайте.

* * *

Кацнельсон рассказал.

Новая станция появилась в эфире в ночь на пятнадцатое ноября. За пять дней до налёта. Работала коротко, по три-четыре минуты, ночью, в разное время, на разных частотах. Позывной менялся каждый раз. Но почерк был один. Женщина. Молодая. Быстрая, но неопытная, после школы, может, после полугода работы. Ставит длинные паузы перед цифрой «семь», потому что учили её на старом ключе. И после условного знака окончания делает лишнюю точку.

— Завитушка, — сказал Кацнельсон. — Видите? Точка. Её учили не делать. А она делает. Потому что у неё нервы. Или потому что это её подпись, чтобы свои знали, что это она. А может, это и есть контрольный знак. Не знаю.

— Где она?

— Пеленговали трижды. Есть пересечение. Вот. — Кацнельсон развернул на столе карту и ткнул пальцем, коротким, с обгрызенным ногтем. — Вот этот квадрат. Севернее Ельца, километров пятнадцать. Деревни Лукьяновка, Казинка, Хмелинец. Лес. Точнее не скажу, она всё время ходит. Сегодня здесь, завтра там. Умные. Но кружит она вот здесь, в этом квадрате.

Сыромятников посмотрел на карту. Потом на Тарханова. Тарханов кивнул: ЗИС-6 был брошен в лесу на северной дороге. Следы расходились веером. Один из этих следов, может быть, вёл сюда, в квадрат Кацнельсона.

— Ей отвечают?

— Отвечают. Центр. Сильная станция, далеко, на западе. Я думаю, Орёл. Или Брянск. Там у них абверкоманда. Работают немцы, мужчины, очень чисто, очень хорошо. Почерк немецкий, школьный, как в учебнике. Скучно. — Кацнельсон вздохнул. — А вот что интересно. Центр, когда её вызывает, даёт открытым текстом слово. Не шифр, а позывной, понимаете? Позывной для сети. Он у них не меняется, всегда один. Немцы бывают ужасно консервативны. Я записал.

Он взял со стола лист из тетрадки в клетку, на котором карандашом были записаны точки и тире, а под ними, крупно, буквы.

FLIEDER.

Сыромятников смотрел на это слово долго. Потом снял очки, хотя очков на нём не было, рука просто прошла по лицу, пустая.

— Что это значит? — спросил Тарханов. — По-немецки?

— Флидер, — сказал Кацнельсон. — Это, Георгий Петрович, сирень. Я по-немецки не очень, но это знаю. У мамы в Одессе сирень росла под окном, а соседка была немка, фрау Кох, она говорила: «Флидер, Ривочка, флидер, ах, какой флидер». Сирень.

— Сирень, — повторил Сыромятников.

Он сидел очень прямо, положив руки на колени. Тарханов смотрел на него с тревогой. Кацнельсон тоже смотрел, своими грустными коровьими глазами, и ничего не понимал.

— Дмитрий Савельевич. Вам нехорошо?

— Мне хорошо, Борис Ефимович. — Сыромятников встал. — Мне очень хорошо. Спасибо вам. Вы очень помогли. Когда у неё следующий выход?

— Не знаю. Не по расписанию. То в одиннадцать, то в два ночи.

— Расписание у нас будет. Через час. — Сыромятников посмотрел на Тарханова. — Жора. Колю сюда, с бумажкой. Бегом.

* * *

Оболенцев пришёл через сорок минут, запыхавшийся, с планшеткой под мышкой. Шифровальщики над цифрами ещё сидели, а он уже кое-что понял сам.

— Это не текст, Дмитрий Савельевич. Я был прав. Это таблица. Семь групп, семь дней. В каждой группе пять цифр. Первые две, час. Вторые две, минуты. Последняя, номер частоты, видимо, по их собственной таблице, которую мы не знаем. Например, первая группа: два-три-четыре-ноль-пять. Двадцать три сорок, частота пять. Вторая: ноль-один-один-пять-два. Час пятнадцать, частота два. И так далее.

Кацнельсон схватил свой журнал.

— Двадцатое, двадцать три сорок! — Он поднял на Оболенцева сияющие глаза. — Она выходила двадцатого в двадцать три сорок. Я записал, вот. Двадцать первого, в час семнадцать. Почти совпадает! У них часы отстают. Боже мой. Юноша, вы гений.

— Я не гений, — сказал Оболенцев и покраснел. — Это обычная схема. Нас учили.

— Всех учили, — сказал Кацнельсон. — А догадались вы.

— Значит, сегодня какой? — спросил Сыромятников. — Двадцать пятое. Шестой день от двадцатого.

— Шестая группа, — Оболенцев заглянул в бумажку. — Ноль-три-ноль-ноль-один. Три ноль-ноль, частота один. Сегодня ночью, в три. Завтра, седьмая: два-два-два-ноль-четыре. Двадцать два двадцать.

— А потом?

— Потом таблица кончается. Значит, на следующую неделю у неё будет новая. Или уже есть, у неё. А эта, на бумажке, была запасная. У беспалого. На случай, если с ней что-то случится и надо будет связаться с центром самому.

Сыромятников кивнул.

— Значит, сегодня в три. В квадрате Кацнельсона. — Он посмотрел на Тарханова. — Сколько тебе надо людей, чтобы прочесать три деревни и лес?

— Полк, — сказал Тарханов. — А лучше два.

— У тебя будет двенадцать.

Тарханов подкрутил ус.

— Тогда так. Прочёсывать не будем. Будем сидеть. Борис Ефимович нам её запеленгует, когда она выйдет, точно, с трёх сторон, а мы будем рядом, в машинах, в трёх местах. И сразу туда. Она стучит три-четыре минуты. Пока сворачивает антенну, ещё минута. Пока уходит, ещё. Успеем, если повезёт.

— Если не повезёт?

— Если не повезёт, она уйдёт, а мы будем знать, где она была. И в следующий раз, завтра в двадцать два двадцать, сядем там, где она была. Немцы, Дмитрий Савельевич, консервативны. Борис Ефимович вон говорит.

Кацнельсон засмеялся.

— Это правда. Это святая правда.

* * *

Ночью, перед выездом, Сыромятников сидел в своём кабинете на втором этаже бывшего купеческого особняка, один, при свете керосиновой лампы, потому что электричество опять отключили. Перед ним лежал лист бумаги, и на листе было написано одно слово: «Флидер». Почерк у него был ровный, без завитушек.

Оболенцев постучал и вошёл.

— Вы меня звали?

— Звал. Садись.

Оболенцев сел. Сыромятников смотрел на лист.

— Ты спрашивал про девятый год, Коля. Я тебе не всё расскажу сейчас. Потом. Но кое-что надо сейчас. Чтобы ты понял, почему я смотрел на это слово, как на привидение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.